Железный Миргород (очерки об Америке). Сергей Александрович Есенин

Я не читал прошлогодней статьи Троцкого о современном искусстве, когда был за границей. Она попалась мне только теперь, когда я вернулся домой. Прочел о себе и грустно улыбнулся. Мне нравится гений этого человека, но видите ли?.. Видите ли?..

Впрочем, он замечательно прав, говоря, что я вернусь не тем, чем был.

Да, я вернулся не тем. Много дано мне, но и много отнято. Перевешивает то, что дано.

Я объездил все государства Европы и почти все штаты Северной Америки. Зрение мое переломилось особенно после Америки. Перед Америкой мне Европа показалась старинной усадьбой, поэтому краткое описание моих скитаний начинаю с Америки.

BOAT «PARIS»[1]

Если взять это с точки зрения океана, то все-таки и это ничтожно, особенно тогда, когда в водяных провалах эта громадина качается своей тушей, как поскользающийся (простите, что у меня нет образа для сравнения, я хотел сказать – как слон, но это превосходит слона приблизительно в 10 тысяч раз. Эта громадина сама – образ. Образ без всякого подобия. Вот тогда я очень ясно почувствовал, что исповедуемый мной и моими друзьями «имажинизм» иссякаем. Почувствовал, что дело не в сравнениях, а в само?м органическом). Но если взглянуть на это с точки зрения того, на что способен человек, то можно развести руками и сказать: «Милый, да что ты наделал? Как тебе?.. да как же это?..»

Когда я вошел в корабельный ресторан, который площадью немного побольше нашего Большого театра, ко мне подошел мой спутник и сказал, что меня просят в нашу кабин[2].

Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел через комнаты для отдыхов, где играют в карты (невольно пожалел, что не было Маяковского), прошел через танцевальный зал, и минут через пять через огромнейший коридор спутник подвел меня к нашей кабине.

Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, 2 ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про «дым отечества», про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь», как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию. Народ наш мне показался именно тем 150 000 000-ым рогатым скотом, о котором писал когда-то в эпоху буржуазной войны в «Летописи» Горького некий Тальников. Где он теперь?

Я с удовольствием пожал бы ему руку, ибо это была большая правда и большая смелость в эпоху квасного патриотизма.

Милостивые государи! лучше фокстрот с здоровым и чистым телом, чем вечная, раздирающая душу на российских полях песня грязных, больных и искалеченных людей про «Лазаря». Убирайтесь к чертовой матери с Вашим Богом и с Вашими церквями. Постройте лучше из них сортиры, чтоб мужик не ходил «до ветру» в чужой огород.

С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство.

Пусть я не близок им как романтик в моих поэмах, я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, <близок> и в своем творчестве, лишь бы поменьше было таких ценителей искусства, как Мещеряков в Госиздате или (царство ему небесное) покойный Вейс. С такими мыслями я ехал в страну Колумба. Ехал океаном 6 дней, проводя жизнь среди ресторанной и отдыхающей в фокстроте публики.

Элис-Аленд

На шестой день около полудня показалась земля. Через час глазам моим предстал Нью-Йорк.

Мать честна?я! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке. Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами. Это поэма без слов. Рассказать ее будет ничтожно. Милые, глупые, смешные российские доморощенные урбанисты и электрофикаторы в поэзии! Ваши «Кузницы» и Ваши «Леф» – как Тула перед Берлином или Парижем.

Здания, заслонившие горизонт, почти упираются в небо. Над всем этим проходят громаднейшие железобетонные арки. Небо в свинце от дымящихся фабричных труб, дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое – великое и громадное, что дух захватывает, хочется скорей на берег, но… но прежде должны осмотреть паспорта…

В сутолоке сходящих мы подходим к какому-то важному лицу, которое осматривает документы. Он долго вертит документы в руках, долго обмеривает нас косыми взглядами и спокойно по-английски говорит, что мы должны идти в свою кабин, что в штаты он нас впустить не может и что завтра он нас отправит на Элис-Аленд.

Элис-Аленд – небольшой остров, где находится карантин и всякие следственные комиссии по приезжающим. Оказывается, что Вашингтон получил сведения о нас, что мы едем как большевистские агитаторы. Завтра на Элис-Аленд… могут отослать обратно, но могут и посадить…

В кабин к нам неожиданно являются репортеры, которые уже знали о нашем приезде. Мы выходим на палубу. Сотни кинематографистов и журналистов бегают по палубе, щелкают аппаратами, чертят карандашами и все спрашивают, спрашивают и спрашивают. Это было приблизительно около 4 часов дня, а в 5 1/2 нам принесли около 20 газет с нашими портретами и огромными статьями о нас. Говорилось в них немного об Айседоре Дункан, о том, что я поэт, но больше всего о моих ботинках и о том, что у меня прекрасное сложение для

легкой атлетики и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в Америке. Ночью мы грустно ходили с спутником по палубе. Нью-Йорк в темноте еще величественней. Копны и стога огней кружились над зданиями, громадины с суровой мощью вздрагивали в зеркале залива.

… … … … … … … … … . .

… … … … … … … … … . .

Утром нас отправили на Элис-Аленд. Садясь на маленький пароход в сопровождении полицейских и журналистов, мы с спутником взглянули на статую Свободы и прыснули смехом.

«Бедная, старая девушка! Ты поставлена здесь ради курьеза!» – сказал я.

Журналисты стали спрашивать, над чем мы так громко смеемся. Спутник мой перевел им, и они засмеялись тоже.

На Элис-Аленде нас по бесчисленным комнатам провели в комнату политических экзаменов. Когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой, господин, волосы которого немного были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напомнили мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя.

«Смотри, – сказал я спутнику, – это Миргород! Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены!»

– Мистер Есенин! – сказал господин. Я встал. – Подойдите к столу, – вдруг он твердо сказал по-русски. Я ошалел.

– Подымите правую руку и отвечайте на вопросы.

Я стал отвечать, но первый вопрос меня сбил с толку.

– В Бога верите?

Что мне было сказать? Я поглядел на спутника, тот мне кивнул головой, и я сказал:

– Да!

– Какую признаете власть?

Елки-палки! Еще не легче! Сбивчиво я стал говорить, что я поэт, что в политике ничего не смыслю.

Помирились мы с ним, помню, на народной власти.

Потом он, не глядя на меня, сказал: «Повторяйте за мной: именем Господа нашего Исуса Христа обещаюсь говорить чистую правду и не делать никому зла. Обещаюсь ни в каких политических делах не принимать участья!»

Я повторял за ним каждое слово. Потом расписался, и нас выпустили. (После мы узнали, что друзья Дункан дали телеграмму Гардингу. Он дал распоряжение при легком опросе впустить меня в Штаты.) Взяли с меня подписку не петь «Интернационал», как это сделал я в Берлине.

Миргород! Миргород! Свинья спасла!

Нью-Йорк

Сломя голову я сбежал с пароходной лестницы на берег. Вышли с пристани на стрит, и сразу на меня пахну?ло запахом, каким-то знакомым запахом. Я стал вспоминать:

«Ах, да это… это тот самый… тот самый запах, который бывает в лавочках <со> скобяной торговлей».

Около пристани на рогожках сидели или лежали негры. Нас встретила заинтригованная газетами толпа.

Когда мы сели в автомобиль, я сказал журналистам:

– Mi laik Amerika[3].

Через десять минут мы были в отеле. О том, что такое Нью-Йорк, поговорим после.

Бродвей

На наших улицах слишком темно, чтобы понять, что такое электрический свет Бродвея. Мы привыкли жить под светом луны, жечь свечи перед иконами, но отнюдь не пред человеком.

Люди часто ездят не в освещенных вагонах. Дело здесь, конечно, не в бедности государства, а в невежестве самих граждан, которые предпочитают освещать раскрашенные доски, чем употреблять этот свет для более полезных целей.

Америка внутри себя не верит в Бога. Там некогда заниматься этой чепухой. Там свет для человека, и потому я начну не с самого Бродвея, а с человека на Бродвее.

Обиженным культурникам на жестокость русской революции не мешало бы взглянуть на историю страны, которая так высоко взметнула

знамя культуры индустрии.

Что такое Америка?

Америка – это прежде всего была страна краснокожих. Вслед после открытия этой страны Колумбом туда потянулся весь неудачливый мир Европы. Искатели золота и приключений, авантюристы самых низших марок, пользуясь человеческой игрой в государства, шли на службу к разным правительствам и теснили красный народ всеми средствами.

Красный народ стал сопротивляться. Начались жестокие войны, и в результате от многомиллионного народа краснокожих осталась маленькая горсточка (около 500 000), которую содержат сейчас, огородив тщательной стеной от культурного мира, кинематографические предприниматели. Дикий народ пропал от виски. Политика хищников разложила его окончательно. Гайавату заразили сифилисом, опоили и загнали догнивать частью на болота Флориды, частью в снега Канады.

Но и все ж, если взглянуть на ту беспощадную мощь железобетона, на повисший между двумя городами Бруклинский мост, высота которого над землей равняется крышам 20-этажных домов, все ж никому не будет жаль, что дикий Гайавата уже не охотится здесь за оленем. И не жаль, что рука строителей этой культуры была иногда жестокой.

Индеец никогда бы не сделал на своем материке того, что сделал «белый дьявол».

Культура к индейцам не прививается. Мне рассказывали, что в Америке нет ни одного мало-мальски интеллигентного индейца.

Были опыты. Брали какого-нибудь малыша, отдавали в школу, а лет через пять-шесть в один прекрасный день он снимал с себя ботинки и снова босиком убегал к своим. Сейчас Гайавата – этнографический киноартист, он показывает в фильмах свои обычаи и свое дикое несложное искусство. Он все так же плавает в отгороженных водах на своих узеньких пирогах, а около Нью-Йорка стоят громады броненосцев, по бокам которых висят десятками уже не шлюпки, а аэропланы, которые подымаются в воздух по особо устроенным спускным доскам, возвращаясь, садятся на воду, и броненосцы громадными рычагами, как руками великанов, подымают их и сажают на свои железные плечи.

Нужно пережить реальный быт индустрии, чтобы стать ее поэтом. У нашей российской реальности, как говорят, «пока еще – слаба гайка», и потому мне смешны все эти «лефствующие», которые пишут свои стихи по картинкам плохих американских журналов.

В нашем литературном строительстве со всеми устоями на советской платформе я предпочитаю везти телегу, которая есть, чтобы не оболгать тот быт, в котором мы живем. В Нью-Йорке лошади давно сданы в музей, но в наших родных пенатах я даже и самого? гениального электрофикатора Ленина видел в Петербурге на жалком тарантасе с лицом, упертым в почтенный зад кобылы.

Ну да ладно! Москва не скоро строится. Поговорим пока о Бродвее. С точки зрения великих замыслов эта улица тоже ведь наша.

У какого-то смешного поэта, написавшего «сто пятьдесят лимонов», есть строчки о Чикаго как символе Америки:

Пройдешь:

За ступней ступня

И еще ступня

Ступеней этих самых до чертиков.

Сие описание «флигелей» напоминает мне описание Козьмы Индикоплова, который уверял всех, что он видел то место, где земля сходится с пологом неба.

Правда! Оно, положим, и есть ступени, но никто по ним не ходит, потому что ступени эти «чертиковы» существуют только на пожарные случаи, а подымаются там исключительно в лифтах в 3 – 4 секунды до 46-го этажа. Так что по картинкам иногда можно ошибиться и нечаянно дать Америку, перелагая Уитмана 19-го века, Америку старого Нью-Йорка. Тогда Бродвей был не таким. Сила Америки развернулась окончательно только за последние 20 лет. При Уитмане он походил на наш старый Невский, теперь же это что-то головокружительное. Этого нет ни в одном городе мира. Правда, энергия направлена исключительно только на рекламный бег, но зато дьявольски здо?рово! Американцы зовут Бродвей, помимо присущего названия «окраинная дорога», – «белая дорога». По Бродвею ночью гораздо светлей и приятней идти, чем днем.

Перед глазами море электрических афиш. Там на высоте 20-го этажа кувыркаются во весь рост сделанные из лампочек гимнасты, там с 30-го этажа курит электрический мистер, выпуская электрическую линию дыма, которая переливается разными кольцами, там около театра на вращающемся электрическом колесе танцует электрическая Терпсихора и т. д. и т. д. всё в том же роде, вплоть до электрической газеты, строчки которой бегут по двадцатому или двадцать пятому этажу налево беспрерывно до конца номера. Одним словом, «умри Денис, лучше не напишешь».

Из музыкальных магазинов слышится по радио музыка Чайковского. Идет концерт в Сан-Франциско, но любители могут его слушать и в Нью-Йорке, сидя в своей квартире.

Когда все это видишь или слышишь, то невольно поражаешься возможностям человека и стыдно делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость.

Бедный русский Гайавата!

Быт и глубь Штатов

Тот, кто знает Америку по Нью-Йорку и Чикаго, тот знает только праздничную или, так сказать, выставочную Америку.

Нью-Йорк и Чикаго есть не что иное, как достижения в производственном искусстве. Чем дальше вглубь, к Калифорнии, впечатления громоздкости исчезают. Перед глазами бегут равнины с жиденькими лесами и (увы! страшно похоже на Россию) маленькие деревянные селения негров. Города становятся похожими на европейские, с той лишь разницей, что если в Европе чисто, то в Америке все взрыто и навалено, как попало, как бывает при постройках. Страна все строит и строит.

Черные люди занимаются земледелием и отхожим промыслом. Язык у них американский. Быт под американцев. Выходцы из Африки, они сохранили в себе лишь некоторые инстинктивные выражения своего народа в песнях и танцах. В этом они оказали огромнейшее влияние на музик-хольный мир Америки. Американский фокстрот есть не что иное, как разжиженный национальный танец негров. В остальном негры довольно народ примитивный, с весьма необузданными нравами. Сами американцы тоже народ весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в «Bisnes»[4] и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей ступени развития. Там до сих пор остается неразрешенным вопрос: нравственно или безнравственно поставить памятник Эдгару По (?). Все это свидетельствует о том, что народ они весьма молодой и не вполне сложившийся в формы. Та громадная культура машин, которая создала славу Америке, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое выявление народа. Народ Америки – только честный исполнитель заданных ему чертежей и их последователь. Если говорить о культуре электричества, то всякое зрение упрется в этой области на фигуру Эдисона. Он есть сердце этой страны. Если б не было гения этого человека в эти годы, то культура радио и электричества могла бы появиться гораздо позже и Америка не была бы столь величественной, как сейчас.

Со стороны внешнего впечатления в Америке есть замечательные курьезы. Так, например, американский полисмен одет под русского городового, только с другими кантами.

Этот курьез объясняется тем, что мануфактурная промышленность сосредоточилась главным образом в руках русских евреев. Наши сородичи, видно из тоски по родине, нарядили полисмена в знакомый им вид формы.

Для русского уха и глаза вообще Америка, а главным образом Нью-Йорк, немного с кровью Одессы и западных областей. Нью-Йорк на 30 процентов еврейский город. Евреев главным образом загнала туда нужда скитальчества из-за погромов.

В Нью-Йорке они осели довольно прочно и имеют свою жаргонную культуру, которая ширится все больше и больше. У них есть свои поэты, свои прозаики и свои театры. От лица их литературы мы имеем несколько имен мировой величины. В поэзии сейчас на мировой рынок выдвигается с весьма крупным талантом Мани-Лейб.

Мани-Лейб – уроженец Черниговской губ. Россию он оставил лет 20 назад. Сейчас ему 38. Он тяжко пробивал себе дорогу в жизни сапожным ремеслом и лишь в последние годы стал иметь возможность существовать на оплату за свое искусство.

Он ознакомил американских евреев переводами на жаргонный язык с русской поэзией от Пушкина до наших дней и тщательно выдвигает молодых жаргонистов с довольно красивыми талантами, от периода Гофштейна до Маркиша. Здесь есть стержни и есть культура.

В специфически американской среде отсутствие всякого присутствия.

Свет иногда бывает страшен. Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов. У нас таких на порог не пускают, несмотря на то, что мы живем чуть ли не при керосиновых лампах, а зачастую и совсем без огня.

Сила железобетона, громада зданий стеснила мозг американца и сузила его зрение.

Нравы американцев напоминают незабвенной гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучше и культурней страны Америки.

«Слушайте, – говорил мне один американец, – я знаю Европу. Не спорьте со мной. Я изъездил Италию и Грецию. Я видел Парфенон. Но все это для меня не ново. Знаете ли вы, что в штате Теннесси у нас есть Парфенон гораздо новей и лучше?»

От таких слов и смеяться, и плакать хочется. Эти слова замечательно характеризуют Америку во всем, что составляет ее культуру внутреннюю. Европа курит и бросает. Америка подбирает окурки. Но из этих окурков растет что-то грандиозное в той среде, которая называется рабочим классом; об этой среде поговорим особо.

1923

Примечания

1 Пароход «Париж» (англ.).

2 Здесь и далее по рукописи Есенина воспроизводится русская калька английского слова «cabin» – каюта. – Сост.

3 Мне нравится Америка (искаж. англ.). – Сост.

4 Бизнес (искаж. англ.).